

ДЕДУШКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*Наш любимый старый дед
Прожил восемьдесят лет.*

1.

Для многочисленных русских евреев, по тем или иным причинам проживающих за границей, и для левых кругов русской эмиграции, к счастью малочисленных, наступил знаменательный, высоко-торжественный день: их любимому вождю и учителю, выразителю их лучших дум и чаяний, Павлу Николаевичу Милюкову, исполнилось восемьдесят лет. Возраст, что и говорить, весьма почтенный. И невольно, наперекор просвещенным заветам нашего прогрессивного юбиляра, вспоминаются мне древние библейские слова: «Дней наших — семьдесят лет, а при большой крепости — восемьдесят лет». Благоклонная судьба от рождения наделила Милюкова большой крепостью телесного здоровья и разносторонней, я бы сказал великолепной, самоуверенностью: Павел Николаевич и политик, и публицист, и даже историк российской культуры. К прискорбию, своенравная фортуна, даруя смертному какие-либо положительные качества, безжалостно лишает его других, не менее ценных благ. Так Паскаль, обладавший умом всеобъемлющим, и даром глубочайшего проникновения в сущность вещей и явлений, отличался крайне слабым здоровьем и чрезвычайно часто сомневался в себе. С такими капризами судьбы, увы, ничего не поделаешь. Очевидно проказница, наделяя и обделяя людей всевозможными свойствами, работает на самые различные вкусы. Недаром нам в поучение сложилось всем известное старинное при словье, что «спор о вкусах пустословье». Русско-европейским марксо-демократам, верующим в идею прогресса пуще, чем темный мужик верует в Господа Бога, естественно мил Милюков; нам же — черным реакционерам — пришлось по душе мыслители, преданные «отжившей теологии» и «устарелой

метафизике». Однако, именно коренное различие в воззрениях и верованиях обязывает нас судить противников правдиво и беспристрастно. О престарелых юбилярах искони принято говорить в несколько приторных тонах. В наше смутное, ответственное время да позволено мне будет нарушить этот, в сущности фальшивый обычай, и поговорить о Милюкове в той или иной мере по существу. Ради соблюдения строжайшего беспристрастия, я не коснусь политической деятельности Милюкова. В политике все зыбко, все текуче. Политический поступок, сочтенный сегодня подлым и нелепым, завтра может поразить своим благородством и мудростью даже «черную ворону», изображенную, по словам Милюкова, на картине Сурикова. Нужды нет, что ни в природе, ни на картинах, черных ворон не бывает, зато в политике, и в особенности милюковской, встречаются всяческие химеры. Оставим же их на сегодня в покое и займемся неопровержимыми реальностями.

Тому назад полвека, будучи тридцатилетним приват-доцентом, написал Милюков свои «Очерки по истории русской культуры». С этим сочинением я познакомился впервые еще на школьной скамье. Разумеется, истинного духа милюковской книги я тогда не уловил. Но, несмотря на легкомыслие, неразлучное с юностью, я заметил элементарность, упрощенность «Очерков» и какую-то инстинктивную, утробную ненависть автора ко всему конструктивному, к сложному цветению культуры. В этой несомненно порочной, революционной упрощенности было что-то особое, непохожее на модное в те годы опрошение Толстого. Но истинный смысл такого несходства, такой разности, я понял гораздо позднее. Помню, что мысленно я сравнил «Очерки» с гимназическим учебником по русской литературе Саводника, умудрившимся вселить в меня года на два отвращение к поэзии Пушкина. Превратностей судеб человеческих в те далекие времена я познать не успел. Да и мог ли я предположить, с облегчением закрывая книгу Милюкова, как мне казалось, — на-веки, что через много лет, в горьких условиях эмигрантской жизни, мне придется внимательно перечитывать «Очерки», к тому же не-

померно разбухшие от авторского тщеславия. Однако, спешу сказать, что труд мой и терпение даром не пропали: «Очерки» — этап, и притом немаловажный, на путях революционного распада российской культуры.

В одном из самых бесконечных «введений» Милюков пишет: «В 'Очерках' придется новому поколению молодежи черпать знания, которых у нее недостает». Какие знания разумеет в данном случае Милюков? Знание русского языка например? Ведь входит же язык неотъемлемой частью в сокровищницу русской культуры. Но Бог мой, на каком удручающем безобразном жаргоне пишет сам Милюков! Чего стоит хотя бы «новое поколение молодежи». Выходит как будто по Милюкову, что существует на свете еще и старое поколение молодежи или новое поколение старцев.

«Поэт-помещик» (так одним словом определяет Милюков поэзию Фета) писал, как известно безглагольные стихи. Очевидно, состязаясь с ненавистными помещиками, Милюков упорно пытается сотворить безглагольную прозу, основанную вдобавок на странном преобладании родительных падежей. Мы усиленно советуем новым поколениям старцев, и юношей, раскрыть наудачу милюковскую книгу. Они без труда обретут в ней языковые перлы, подобные следующим: «Во всяком случае, наличность влияния соседства, даже и отдаленного, бесспорна, и сфера этого влияния значительно шире круга явлений прямого переселения». Или вот еще поучительный для молодежи языковый образчик: «передвижений путей мировой торговли, по мере открытия вселенной для международных отношений».

Коротенькая идейка уравнительного прогресса вынуждает Милюкова огульно отрицать доподлинный мир идей и религии и заставляет нашего прогрессиста безысходно топтаться на одном месте. Такая безыдейная толчея роковым образом отражается на языке, засоряя его бесчисленными плеоназмами. С удивительным самодовольством развозит Милюков черным по белому немилосердную нелепицу: «Черты изложения освещены при свете научного изучения»; «объ-

яснение должно заключаться в охарактеризованном общем характере»; «мнению противопоставлен взгляд, совершенно противоположный»...

Полнейшая распушенность языка очень характерна для Милюкова и несомненно связана с нигилистическими склонностями этого громоздкого публициста. Не случайно язык и стиль Милюкова разительного напоминает писания Чернышевского. Он нисколько не стыдится, например, говорить о музыке Римского-Корсакова на своем митинговом жаргоне: «Трагедия Снегурочки или приключения Садко трогают зрителя (!), но оставляют его мыслительный аппарат в бездействии».

На этот раз смысл суконного заявления Милюкова по крайней мере понятен: Наш музыкальный «зритель» упрекает музыку Римск.-Корсакова в недостаточной преданности идее всемирного прогресса. Вот если бы Снегурочка, перед трагической своей гибелью, внезапно «дернула» Карманьолу, а Садко грянул пропагандную арию, изобличающую реакционность православия, тогда бы наконец заработал «мыслительный аппарат» самого Милюкова. Нет, напрасно сидится сочинитель «Очерков» «осветить» свою убогую идеологию «при свете научного изучения»; ни заигрывание с наукой, ни философски наивные ссылки на мыслителей вроде Огюста Конта и Спенсера, ни блистательное презрение к Гегелю, не в силах выручить его из смехотворного положения. Эта наукообразность, сильно смахивающая на самое обыкновенное шарлатанство, только окончательно запутывает нашего престарелого приват-доцента и лишает его последних способностей к построению и изложению собственных скудных домыслов. Так, например, написав первый том «Очерков», обильно снабженный для соблюдения научного фасада картами и чертежами, Милюков добавляет к нему пояснительное заключение, а в предисловии дает читателям беспримерный, небывалый в писательской практике совет: «Я могу, к сожалению, предложить только одно средство для облегчения чтения: пусть читатель предварительно ознакомится внимательно с подробным изложением содержания книги по

приложенному сначала (!) оглавлению и отсюда пусть прямо перейдет к заключению» (подчеркнуто мною. Г. М.)

По-видимому, для Милюкова и его поклонников «Грядет с заката царь природы», но не взирая на такие чудеса, вряд ли придется «новому поколению молодежи» черпать в «Очерках» знание русского языка. Ведь «Очерки», как мы только что убедились, неспособны даже научить кого-либо элементарнейшей умственной дисциплине. Порядку и последовательности нужно прежде всего обучить самого Милюкова, сердобольно стараясь разъяснить ему простую и одновременно основную истину: конец всякой вещи неизменно находится на ее конце, а начало — непременно обретается в начале. Пока же на основании «Очерков», «новое поколение молодежи» вправе повторить Милюкову вопрос некогда заданный, по словам Прутковского деда, очень красивой девушкой кавалеру де Монбасону: «государь мой, что к чему привешено: хвост к собаке или собака к хвосту?».

Но для чего же все-таки понадобилось Милюкову огород городить, туман нагонять — возводить какое-то жалкое подобие научных построений? Дело в том, что «Очерки» рассчитаны на безликих и бесчисленных провинциальных буржуа, вкусы и верования которых Милюков всегда старательно обслуживал. Провинциалы тянутся к моде, к столице, они любят всяческие цивилизованные выкрутасы, незаконные, мудреные усложненности. И вот, читая «Очерки», упорно, неотвязно, вспоминаешь пророческие слова Константина Леонтьева: «Приемы эгалитарного прогресса — сложны, но цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию. Цель всего — средний человек: буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже спокойных».

«Очерки» — произведение спокойного среднего обывателя, обслуживающего вкусы точно таких же средних, спокойных, многомиллионных Милюковых, Джонов Булей, Дюпонов, Миркиных и Гецевичей. А что научность «Очерков» не только дутая, но и совершенно продувная, показать совсем не трудно. Об этой научности мы поговорим подробнее во второй части нашей статьи, а сейчас постараемся добро-

совестно разобраться в попытке Милюкова научно формулировать понятие национальности.

К такой попытке поневоле привела нашего сочинителя основная тема «Очерков». Я говорю поневоле, ибо сам Милюков отлично сознавал, что лучше было бы ему на этот раз от решительных определений воздержаться. Материалистическая позитивная доктрина отрицает в человеке живую душу, незаменимую бессмертную личность. Милюков спешит заявить о своей верности этой доктрине: «Я готов, — пишет он, — присоединиться к протесту против метафизической свободы личности» и добавляет: «Мы даже не знаем, что осталось бы от индивидуального сознания, если бы исключить из него все, принадлежащее коллективному сознанию». Дело, конечно, не в милюковском протесте, от которого, мы уверены, метафизическая свобода личности нисколько не пострадает, и не в безнадежно абсурдном «коллективном сознании», а в невероятном апломбе седовласого нигилиста. Ведь если отрицать в человеке бессмертную душу и следовательно доподлинно духовную свободу его личности, то понятия национальности и нации надо признать фиктивными, призрачными. Правда, можно еще попытаться, насильственно слив воедино эти два весьма различные понятия, отождествить их (т. е. по существу упразднить) с понятиями племени, этноса, туземщины. Материалистические воззрения на мир логически к этому приводят. Но Милюкову не до логики — у него своя забота. От строгого разделения понятий он трусливо уклоняется, прибегая к обычному для этого журналиста приему: в разгаре рассуждений, Милюков внезапно подменяет слово национальность словом нация и, как ни в чем не бывало, строчит себе свои серые домыслы дальше. Причину такой скоропалительности отгадать легко: отличить нацию от национальности для Милюкова в высшей степени опасно. Нельзя же успокоиться на том, что, мол, национальность де маленькая, а нация — большая. Пожалуй, всякий возразит, что нет никаких оснований называть громадную Совдепию нацией, а маленькую Португалию, крепко соблюдающую великие духовные традиции своего прошлого, всего лишь на-

циональностью. Нет, пришлось бы Милюкову, чего доброго, заговорить не об одних мерах и числах, а и о духовных качествах. Но этого то именно он и боится. Герой Достоевского, некий бравый капитан, наслушавшись атеистических разговоров, воскликнул в недоумении: «Если нет Бога, то какой же я капитан!» Милюкову, не на шутку, заговорившему о духовных качествах, оставалось бы только горестно перефразировать капитана: «Если есть Бог, то какой же я слугитель прогресса!»

Итак, Милюков предпочел просто-напросто «передернуть картишки», что все же не избавило его от второй, и не меньшей беды. Отожествить в полной последовательности с материалистическими верованиями понятия национальности и племени наш ученый сочинитель не отважился. На такую «расистскую установку» могли бы тяжело разгневаться некие щедрые читатели и даятели. И вот, в поисках выхода, Милюков, подобно новоявленному Колумбу, пускается в неизвестный путь: «Национальность, — пишет он, — есть понятие не естественно историческое и не антропогеографическое — а чисто социологическое... Национальность есть социальная группа, располагающая таким существенным и необходимым средством для непрерывного психического взаимодействия, как язык, и выработавшая себе постоянный запас однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия».

К сожалению, Милюков нигде не удосужился определить — что же такое, по его мнению язык. Несомненно одно: еврейский жаргон он языком почитает. Вряд ли решился бы Милюков исключить еврейскую народность из числа национальностей. Пусть так! Согласимся с Милюковым на время, признаем еврейский жаргон за язык. Но не обязывает ли нас такое признание к дальнейшим уступкам? Почему бы в самом деле не включить в число языков все существующие в мире жаргоны? Тем более, что всякое наречие, всякий говор, всякий жаргон, непременно объединяет какую-либо социальную группу и при том со всеми признаками, упомянутыми Милюковым. Не придется ли высокоученому автору «Очер-

ков» в свою очередь согласиться и с нами — приняв в семью национальностей любое сообщество жуликов, быстро и ловко владеющих своим особым жаргоном: часы — червонные бимбары, делить — дуванить, есть — шамать, и т. д. Что же касается признаков, определяющих, по мнению Милюкова, всякую национальность, то ведь тут они все налицо, включительно до «постоянного запаса однообразных психических навыков, регулирующих правильность и повторяемость явлений этого взаимодействия»...

2.

В первой части этой статьи, говоря об элементарности, упрощенности милюковских «Очерков», я вспомнил о модном когда-то опрощении Толстого. В наше суровое и покаянное время странно было бы не осудить сектантских заблуждений толстовства, бесспорно и много способствовавших всероссийскому крушению. Но чувство жизненной правды, но беспристрастное обсуждение прошлых ошибок, легко устанавливают великую разницу между толстовским опрощением и милюповской упрощенностью. Да и вообще по меньшей мере смешно сравнивать большого художника, человека тончайшей душевной культуры, с утилитарным пропагандистом цивилизаторского эгалитарного прогресса. Кстати сказать, точнее всего определяют Милюкова именно эти штампованные международные словечки, стертые словесные клише. Лев Толстой — единственный, незаменимый, а милюковых множество, и имя им — легион. Великого с ничтожным сблизжают лишь неисцелимые изъяны, провалы совести и духа. Такие провалы в душе Толстого были. Живая вера в Бога, в чудо, в возможность духовного преображения земного мира, Толстому не присуща. Творец лишил его от рождения этого высочайшего дара. Всю жизнь, с отроческих лет и до последнего своего вздоха, страдая и отчаяваясь, жаждал Толстой уверовать в Бога и в бессмертие, жаждал и не мог. Художник — мыслитель, верой своей обличает мир «вещей невидимых,

как бы видимых», ищет оправдания Божества. Толстой соглашался на меньшее: обрести веру уже означало бы для него основаться в абсолютной правде. Но вера и правда бежали Толстого. Мир первобытный и сложный мир культуры были одинаково доступны ему. Толстой все видел, все слышал, все понимал, и вот без веры — все суета сует и всяческая суета. В отчаянных поисках правды стал совлекать он с жизни покров за покровом, отрицать науку, право, отечество, таинства, церковь и в особенности главного своего врага — красоту, во всех ее обликах обманчивую и лживую.

Но под насильственно совлеченным златотканым покровом обнаружилась для Толстого даже не Тютчевская роковая бездна, а некая безымянная пасть, «черная дыра», поглотившая умирающего Ивана Ильича. И тогда поистине стал Толстой воплощенным отчаянием, ибо в опрощении искал он не смерти, а целительной жизненной правды. Пусть за свою долгую жизнь сказал и написал Толстой немало неправедного. И все же мы тяжело перед ним виноваты. Слова, оброненные лишенным высшего дара страдальцем, человеком, измученным бесплодными поисками веры, мы слишком часто называли кощунственными. Между тем подлинного надругательства над Богом и верой, над культурой и творчеством, мы совсем не замечали, или, что гораздо страшнее, не хотели замечать. Мы, как истые русские мальчишки, ожидали денно и ночью осуществления рабской уравниловки, восхваляемой печатно и устно корыстными завистниками. В самодовольном проповеднике пошлейшей прогрессивности мы видели ум, в невежественной пропаганде безбожия — науку. Святейший Синод, отлучивший Толстого от церкви, оставил однако в покое истинных растлителей жизни. Они же, имея своих ставленников по всем общественным учреждениям и учебным заведениям, нагло ширили революционную пропаганду и, распоясавшись по-милюковски, открыто кощунствовали. А нелепая вера в прогресс и науку охватила, обуяла русских людей еще с середины прошлого века. Талантливейший поэт, но человек слабавольный, неумный Полонский, сидя в Петербурге, в самой гуще разнузданной пи-

саревщины, удосужился написать стишки во славу всеобщего идола:

Царство науки не знает предела,

Всюду следы ее вечных побед...

Эту «научную поэзию» тотчас подхватили восторженные курсистки и ликующие гимназисты, не на шутку приступившие к преобразованию отсталой России. И не успел Милюков толком взяться за свои «Очерки по истории русской культуры», как научные стишки Полонского превратились в народное достояние. Пишущему эти строки неоднократно доводилось слышать «Царство науки» в исполнении так называемых «скубентов» («студентов»), или иначе «волчков», изрядно зашибавших копейку по столичным пивным и харчевням чтением вслух прогрессивных сочинений русских поэтов. Войдет, бывало, такой «скубент» в пивную Горхина в Москве на Арбате, облубует столик, окруженный студентами, встанет, как полагается, «в театральную позицию», и втянув квадратную голову в плечи, уставившись на слушателей наглыми белесыми глазами, просипит с тремолями и паузами научные стишки Полонского. Покончив с декламацией, подмигнет бродяга просвещенной аудитории: дескать и я кое-что понимаю в науке, да и Бога то никакого в природе не имеется, несмотря на форменное распоряжение начальства!

Сценка, только что нами описанная, могла бы называться на высоко-ученом языке Милюкова «идеиной смычкой сознательного пролетария с передовыми элементами нового поколения молодежи». Но поучительность этой сценки заключается для нас не столько в отношении к ней Милюкова, сколько в поразительном сходстве «однообразных психических навыков», свойственных декламирующему стишки «скубенту», с не менее однообразными писательскими навыками автора «Очерков по истории русской культуры». В своих обширных «введениях» и «заклечениях», Милюков свячески старается внушить читателям, что и он понимает в науке не хуже Конта и Спенсера. А главнейшее предназначение науки по Милюкову — доказывать, что никакого Бога в природе не

имеется и потому ничего нет вреднее и реакционнее православия, испокон веков служившего царям и попам для эксплуатации темного люда. Отвращение и презрение к религии исчерпывающе характеризует Милюкова, ненавидевшего вообще все явления жизни, недоступные его пониманию. А понимать по Милюкову значит учитывать что-либо арифметически. Ненависть ко всему непонятному, сложному, лишний раз сближает Милюкова с наихудшими представителями черни, всегда готовыми попираť любые проявления им недоступной культуры. Да, поистине велика разность между толстовским опрощением и милюковской упрощенностью! Стремление к опрощению возникло в Толстом от предельного пресыщения культурой, от того, что слишком хорошо понимал он трагедию ее условности. Милюковская упрощенность решительно ни откуда не возникла, а просто-напросто с Милюковым родилась, предопределив тем самым его полную неспособность к культуре. Безысходная драма Толстого состояла в том, что всю свою жизнь искал он познать абсолютное, а находил лишь условное. Великолепное самочувствие Милюкова происходит от похвальной веры «профессора» в абсолютную ценность начальных правил арифметики. Осилев эти правила, «профессор» вообразил себя на вершине премудрости и тотчас же решил написать книгу о русской культуре с точки зрения сложения и вычитания. Это легкое и одновременно приятное занятие доставило автору двоякое удовольствие: приобрело ему поклонников в лице, или вернее в безличии, бесчисленных интеллигентских Петрушек, бескорыстных любителей грамоты, и с лихвой отомстило русской культуре за ее непонятность и сложность.

Дело, предпринятое Милюковым, сводилось к весьма упрощенному двустороннему приему. Предстояло во-первых наградить минусами ненавистную православную церковь, со всеми ее угодниками, проповедниками и служителями, всех царей и императоров, включительно до Петра Великого, русских поэтов и писателей, от Державина до Фета и Достоевского, и даже всех полицмейстеров, исправников и урядников; во-вторых, надлежало снабдить жирнейшими плюсами

достоинных предшественников нашего цивилизованного нигилиста, начиная с сектантов XVI века, вроде Матвея Башкина, утверждавшего что в Евхаристии нет ни Тела, ни Крови Христовых, а есть простой хлеб и вино, и беглого холопа Феодосия Косого, призывавшего не почитать родителей, и не признавать крещения, Причастия и молитвы. Неизбывная ненависть к православной церкви вынуждает Милюкова приветствовать, как просвещенных проводников прогресса: безпоповцев, хлыстов, скопцов, евангелистов, толстовских опрошенцев, молокан и наконец живоцерковцев, во главе с большевизанствующими расстригами. О Святом Сергии Радонежском, о Святом Стефане пророке зырян, о вековой культурной деятельности Троице-Сергиевской Лавры и других монастырей, Милюков ни словом не упоминает, молча давая понять, что эти суеверные пережитки православия ничего, кроме вреда в свое время русской культуре не принесли. Тем же способом пытается Милюков погрузить в небытие наше светское и государственное творчество. Так, касаясь состояния русской культуры при Екатерине II Милюков обходит полным молчанием всех великих сподвижников великой императрицы. Деяния Суворова и Потемкина, творения Державина и Фонвизина достоянием русской культуры наш самозванный профессор не почитает. Зато не малое количество строк отводит он первому русскому интеллигенту, революционному верхогляду и барзописцу Новикову и совершенно бездарному клеветнику Радищеву.

Основной замысел милюковских «Очерков» так ничтожен, что право не превосходит он своими размерами комариного хоботка. Цель Милюкова «научно продемонстрировать» поступательное движение русского народа по пути, якобы предназначенному судьбою всем народам без исключения. Этот поистине подлеший путь ведет народы от пламенной веры в Бога, через так называемое свободомыслие, к спасительному атеизму, мирному прибежищу упитанных, румяных, оптимистически настроенных буржуа. И вот это то самое «поступательное движение», ведущее народы к постепенной и по возможности безболезненной замене Бога живо-

го очередным Милюковым, и называется на штампованном языке «Очерков» эгалитарным прогрессом.

— Но позвольте, — возразит Милюкову, какой-нибудь упрямый россиянин, — не желаю я ни вашего прогресса, ни вашей уравниловки. Скучища смертная, да и разит от всего этого весьма неблаговонно самодовольнейшим смердом.

— А уж это как тебе будет угодно, — ответит упрямцу самодовольнейший смерд, невозмутимо перелистывая страницы милюковских «Очерков», — вот тут я неоспоримо доказал тебе сложением и вычитанием, что иного пути человечеству нет. Ты не желаешь повиноваться мною открытым законам, так погибай же, как муха! Впрочем, на прощанье я все же советую тебе вдуматься в основное положение моего безошибочного научного открытия, гласящее: «мнение и желание большинства непререкаемо». Ты отказываешься от солидарности и эгалитарности, но к ним стремятся многомиллионные Дюпоны и Гоберманы, стремятся и баста! Следовательно, святая правда на нашей стороне. А кроме того, напоминаю тебе слова, давно уже сказанные одним из моих мудрых предшественников, о том, как твоя родина Россия, — «от Смоленска до Ташкента с нетерпеньем ждет студента». Теперь же, когда дождалась таки наконец Россия своего «студента», появились и у нее передовые люди, как обновленцы и живоцерковцы, провозгласившие революционный переход церкви от традиционной неподвижности к прогрессу, например к женатым епископам и освобождению православной Литургии от суеверий и остатков язычества. К сожалению, малокультурная масса и даже образованные представители устарелой церкви, все еще не могут решиться лойяльно содействовать такому просветительному переходу. Но, погоди немного, скоро не только женатых, а никаких епископов в помине не останется, ибо — «зарю святого обновления уже вдали завидел я»...

По существу, именно так обращается Милюков к своему читателю. Но не желая быть голословным, я предлагаю сомневающимся перечитать хотя бы восьмую главу II-го тома «Очерков» (изд. 1931 г.) посвященную «церкви во время ре-

волюции». Там, под завесой беспристрастных рассуждений, старается Милюков превратить живоцерковцев и обновленцев в верных слугителей все той же коротенькой идейки прогресса. На самом же деле Милюков прекрасно понимает, что служат обновленцы всего лишь Чеке, да и то за деньги и по шкурным соображениям. Но уж такова любовь «профессора» к религии вообще и к православию в частности, что сильно надеется он обновленчески-чекистской башкой сшибить все церковные маковки. Однако, такая кропотливая возня с комариным хоботком, или иначе — с идейкой прогресса, завела Милюкова весьма далеко. И пора давно уже зачислить нашего восьмидесятилетнего богохульника в ряды большевицких безбожников, попирателей церкви. Правда, остатки внешнего благоприличия, по недоразумению усвоенного Милюковым в прежние годы, мешает ему открыто «выражаться по Ярославскому». Но апломб и бестактность время от времени выдают «профессора» и ставят его в смешное и позорное положение.

Захотелось Милюкову показать на примере, как губило жестокое православие молодые побеги народного творчества. С наслаждением, смакуя и облизываясь, передает он в своих «Очерках» содержание гнусной народной повести, запрещенной церковью еще в XVII веке. Вкратце содержание повести сводится к тому, как по смерти своей, пришел к райским вратам горький пьяница. Апостол Петр не хочет пустить его в рай. «А помнишь, Петр, — говорит пьяница, — как ты от Христа отрекся? Зачем же ты в рай живешь?» Петр посрамленный уходит прочь. Такая же участь постигает апостола Павла, Давида, Соломона, Святителя Николая, и Иоанна Богослова, которому пьяница напоминает «Вы с Лукой написали в Евангелии: друг друга любите. А вы пришельца ненавидите. Либо руки своей отрешись, Иоанн Богослов, либо слова отопрись!» После этого Иоанн отвечает: «Ты еси наш человек, бражник!» — и вводит его в рай. Бражник располагается на лучшем месте и дразнит обидившихся на это святых: «Святые отцы, не умеете вы говорить с бражником, не то что с трезвым».

Эта кощунственная повесть — подлинный зачаток русского большевизма — приводит Милюкова в восторг. И тем решительнее порицает он варварскую цензуру, запретившую «здоровый смех и веселую шутку». Эти постыдные и роковые для Милюкова слова он, к счастью, нисколько не постеснялся пропечатать в своих «Очерках». Я говорю к счастью, ибо подчас лучше всего изобличают злоумышленника его же собственное нахальство и дремучее невежество. Многим, конечно, известно, как при каждом неудобном случае, пытается Милюков презрительно ругнуть Достоевского — истериком, бесплодным метафизиком и т. д. Но хвала и порицание должны быть основаны на знании предмета. С этой простой истиной не хочет считаться чрезмерно самонадеянный «профессор». Он вкривь и вкось судит Достоевского, не имея отдаленного понятия о творениях великого писателя. Иначе был бы Милюков, временами, поосторожнее на слово. В «Бесах» Достоевского имеется скромная героиня — книгоноша, продающая Евангелие. Революционно-прогрессивные молодые люди однажды подбрасывают ей в мешок с святыми книгами целую пачку мерзких фотографий из за границы, нарочно пожертвованных для этого случая одним весьма почтенным старичком, любившим, по его выражению, «— здоровый смех и веселую шутку». Теперь спрашивается: случайно ли совпадают слова порнографического старичка со словами богохульного дедушки русской революции? Или здесь лишний раз сказался пророческий дар Достоевского?